

# К 100-летию со дня рождения Г.К.Жукова

И.И.Чернова

## “Голос памяти правдивой”



“Под моими подошвами - земля Отечества, только ее боль я слышу, только о ней пишу”, - говорил о себе А.И.Солженицын. В верности такого суждения-оценки убеждают последние его рассказы, опубликованные в “Новом мире” (1995, №5), - “Эго”, “На краях”. В них повествуется о подлинных исторических событиях: в первом - о “шести неделях решающего подавления” крестьянского восстания на Тамбовщине в 1920 г., во втором - о Великой Отечественной. Герои, участвовавшие в них, - подлинные, реально существовавшие лица.

Первая часть рассказа “На краях” тематически примыкает к рассказу “Эго”. Здесь повествуется об эскадронной молодости кавалериста Георгия Жукова. Самым ярким озарением этих лет стала для него встреча с Тухачевским, повлиявшая на его выбор: “быть военным до последней косточки, до цельного дыхания”. Встреча со Сталиным в 1939 г. определила дальнейшую судьбу Г.К.Жукова.

Вторая часть рассказа начинается с драматически интонированного момента: маршал Жуков в опале, “в тишине и ненужности”. “Перестали звонить, тем более навещать. Мир - замолк и замкнулся. А пережить эту пору - может, и лет пет”. В конце рассказа об этом моменте сказано еще сильнее: “Жукова - как скинули с лошади на скаку...”

Да: на скаку - и обзечь. Больно”.

Много, очень много вбирают в себя эти короткие, полные экспрессии фразы! Вбирают все, что нельзя вычеркнуть из памяти. И Солженицын вновь напоминает нам: “Спасши Родину от германского фашизма, и спасши от перерожденца Берии, и спасши от антипартийной группировки - этими одолениями был теперь Георгий Жуков трижды увенчан, достойный, любимый сын Отечества”.

С болью, страданием писатель говорит о том, что пришлось пережить этому “достойному, любимому сыну Отечества”. Предательство Хрущева, “дважды спасенного Жуковым!” “Только теперь! теперь задним умом разобрался Георгий Константинович: был он слишком крупная фигура для Хрущева. Невмоготу было - такого рядом держать”. “Прыщ кукурузный”, - других слов Солженицын не мог найти для Хрущева. С гневом он будет писать и о Коневе, который тоже предал, напечатав “гнусную статью *против Жукова*. Конев!! - спасенный Жуков-

*Чернова Ирина Ивановна - профессор кафедры литературы Псковского государственного педагогического института им.С.М.Кирова.*

вым от сталинского трибунала - в Сорок Первом году". Чуйков "пинал в мемуарах павшего Жукова".

"Да и на том не кончилось: из Армии выкинули вовсе: *в отставку...*"

И вот тут - хватил Жукова второй инфаркт. И поднялся от него - "уже не прежним железным".

"А внешняя жизнь - текла себе как ни в чем не бывало. Печаталась много-томная история Великой Отечественной Войны - но к Жукову не обратились ни разу ни за единой справкой... И само его имя - замалчивали, затирали, сколько могли. И, говорят, - убрали его фотографии из музея Вооруженных сил (кроме Василевского и навещавшего Баграмяна все отвернулись от Жукова)". И начали "строчить" свои мемуары.

Сколько горечи в этих словах Солженицына! В самом строении фразы с ее выразительным тире, в выборе слов передана страстность художника, с какой он говорит о противоестественности ситуаций, складывавшихся вокруг Г.К. Жукова. Восстановить историческую справедливость! Сказать правду! - таков побудительный мотив, определивший рождение рассказа "На краях".

"Становление полководца" - так можно обозначить его сквозную тему. Она, вобрав в себя другие темы - "Сталин. Его роль в Великой Войне", "Сталин и Жуков", "Цена победы", определила внутреннее движение повествования, его стилистику, его поэтику. С этой темой связано и заглавие рассказа: на краях, на пределе возможного, в крайнем напряжении всех сил, очень часто в чрезвычайных обстоятельствах проходило становление характера, личности героя, что и определило его высокую и трагическую судьбу.

Отметить, что рассказ "На краях" построен на мемуарной основе, мало. Мотивом воспоминаний рожден его внутренний сюжет: Жуков приступает к работе над своей книгой "Воспоминания и размышления". Это тяжелый труд души, "работица же какая невыполоченная! От одного перебора воспоминаний разомлеешь. Какие промахи допустил - бередят сердце и теперь. Но и чем гордишься..."

Жуков "обмысливает": "Как о главе правительства, Генеральном Секретаре и вскоре Верховном Главнокомандующем писать - генералу, который часто, много соприкасался с ним в Великую Войну, и в очень разных настроениях Верховного?"

"И - как теперь написать об этом честно и достойно?"

"...как?? вот как - об этом *всем* можно написать? И вообще можно ли? Трудно".

"Писать надо - истинную правду".

В этих вопросах, сомнениях, утверждениях выражено нравственное кредо и писателя и его героя.

И этот сюжет, и размышления писателя по его поводу определили всю художественную структуру рассказа. В нем не найдем каких-либо развернутых эпизодов. В восприятии читателя они рождаются из многочисленных зарисовок, блестящих, психологически насыщенных. Солженицын дорожит свидетельствами Жукова-мемуариста: они помогают по-новому взглянуть на Сталина, позволяют раскрыть суть взаимоотношений Сталина и Жукова. Они не однолинейны:

“...бывали очень горькие минуты. (Когда сердился, Сталин не выбирал выражений, мог обидеть незаслуженно, барабанную нужно шкуру иметь. А погасшая трубка в руке - верный признак беспощадного настроения, вот сейчас обрушится на твою голову.) Но бывали и минуты - поразительного “сердечного доверия”. “Спорить со Сталиным - большую отвагу надо иметь”.

Сталина увидим в разные моменты, в разном душевном состоянии - растерянного, подавленного, ликующего...

“Грянула война... в эти первые часы своей небывалой растерянности”, когда “все Верховное командование велось наугад”, Сталин “открылся фразой в жалобном тоне: “В этой обстановке - что можно сделать?”

Из этого состояния растерянности, “замеченной шаткости” Сталин долго не мог выйти. У Солженицына читаем: “Осталось навек загадкой: почему в эту страшную решающую неделю - Верховный не подал ни знака, ни голоса, ни разу не вызвал Жукова даже к телефону, - а сам-то Жуков не смел никогда. И осталось загадкой: где был Сталин всю середину октября? Наверняка он проявился в Москве только в конце октября, когда Жуков, Рокоссовский (да и Власов же) остановили немцев на дуге от Волоколамска до Наро-Фоминска. В начале ноября Сталин проявился по телефону, требуя немедленного контрудара по всему кольцу, чтобы иметь победу непременно к годовщине Октября”.

“Веские советы” Жукова наткнулись на “полную стратегическую и оперативную неграмотность” Сталина, который “в первые недели войны нараспоряжался беспрекословно, натворил ошибок”.

“20 ноября Сталин позвонил Жукову, не скрывая тревоги и тоном необычным, голос сломался: “Вы уверены, что мы удержим Москву? Спрашиваю - с болью в душе. Говорите честно, как коммунист”.

Жуков был потрясен, что Сталин не умеет и даже не пытается скрыть страха и боли. И - так доверяет своему полководцу. И собрав всю, всю, всю свою - действительно железную - волю, Жуков как поклялся Сталину, и родине, и себе: “Отстоим!!”

И, по точному расчету дней, назначил возможную дату нашего контрнаступления: 6 декабря. Сталин тут же стал торговаться: нет, 4-го. (Не потому что что-то рассчитал, а - ко дню Конституции, вот как.)”

Это замечание автора в скобках, слова “стал торговаться” подчеркивают трагичность ситуации, в которой оказывался Жуков: “каждый день приносил все новые поражения... Все было - в неразберихе и катастрофе. И почти уже не хватало воли верить, заставить себя верить: нет, *не рухнет!* Нет, удержим. (В эти дни московской битвы спал по два часа в сутки, не больше. Молотову, по телефону грозившему расстрелять, отвечал - дерзко.)”

В рассказе о войне отсутствуют батальные картины, описания. Солженицын избирает неожиданный угол зрения - через восприятие событий Сталиным. По его реакции на происходящее мы почувствуем, что такое война, 41-й, мы поймем, что Верховный - непредсказуем.

“Прогремела победа. Изумился и ликовал весь мир. Но - больше всех в мире был изумлен ею сам Верховный, видимо уже никак не веривший в нее. И - закружилась от победы его голова, он и слышать не хотел, что мы еле-еле

удерживаем то, что взяли. Нет! Ликующий Сталин в безграничной отчаянной храбрости приказал: немедленно начать *общее* крупное наступление *всеми* нашими войсками от Ладожского озера до Черного моря, освободить и Ленинград, и Орел, и Курск - и все одновременно!!!

И потекли месяцы - январь, февраль, март - этого непосильного и ненужного напряжения наших измученных войск - чтоб осуществить радужную мечту Сталина. И только клали, клали, клали десятки и сотни тысяч в бесполезных атаках... Ничего нигде не добились, только испортили картину от московской победы”.

Солженицын, как и Жуков в своих мемуарах, меньше всего хочет развенчать Сталина. Это противоречило бы правде истории. Тех, кто “оплевали” Верховного “разными баснями”, “командовал фронтами по глобусу”, писатель называет “балабанами”, а Хрущева - “главным озорным пустошлетом”. В отношении Жукова к Сталину Солженицын почувствовал почтение, даже некое обожествление: “А лично - Жуков на Сталина не обижался: на Нем не только фронт, но и промышленность, которую Он держал в каменных руках. Но и вся страна”. Заметим, местоимения *Он*, с *Ним*, *Его* написаны с заглавной буквы. “*Кто* не бывал скован даже только грозovým именем Сталина?” - спрашивает писатель, словно повторяя А.Твардовского:

И кто при нем его не славил,

Не возносил - найдись такой!

В последние десятилетия стали заметны попытки переосмыслить войну 1941-1945 гг. и, усомнившись в величии Отечественной, представить ее как войну двух тоталитарных систем, развенчать ее героев (В.Гроссман “Жизнь и судьба”, В.Астафьев “Прокляты и убиты”, опубликованная переписка В.Астафьева и В.Кондратьева). Солженицын противостоит этим попыткам. Для него, дошедшего с боями до Восточной Пруссии, война 1941-1945 гг. осталась Великой Войной. Не зря же в рассказе “На краях” эти слова, как и Сорок Первый, написаны с большой буквы. По-другому, нежели В.Астафьев, он увидел и героев войны.

Рассказ Солженицына - не единственное произведение современной прозы, где воссоздан образ Г.К.Жукова. Можно сравнить содержащиеся в них портретные характеристики героя - сравнение поможет понять авторскую концепцию образа.

Анна Миркина, которая участвовала в подготовке к изданию мемуаров Жукова, свой очерк “Маршал пишет книгу” (“Огонек”, 1988, №№ 16-19) заканчивает такой зарисовкой: “Он сидел на скамейке, держась, как всегда, удивительно прямо, чеканные черты лица, словно высеченные резцом скульптора, плотно сжатые губы, в упрямом повороте головы прежняя несокрушимая сила - Полководец!”

В ином ключе нарисован портрет Жукова в романе Г.Владимова “Генерал и его армия” (“Знамя”, 1944, №№ 4, 5). Маршал здесь показан в одном эпизоде - на вокзале в Спасо-Песковцах, где собрались на совещание высшие военные чины. Обращают на себя внимание такие детали в портрете Жукова: “Чудовищный подбородок, занимающий едва ли не треть лица”, “твердые гу-

бы”; “Жесткий взгляд маршала, вбирающий, точно бы пережевывающий стоящего перед ним, выказывал один вопрос - съест его или выплюнуть”; “Жуков с каменным лицом”; “Жуков, прогнав жесткую, волчью свою ухмылку, расчистив место для рук, сцепил их в один кулак, поиграл большими пальцами”; “Жуков, цепким хищным глазохватом вбирая в себя карту, поиграл большими пальцами... Он пристально посмотрел на Кобрисова тем взглядом, от которого, говорили, иные чуть не падали замертво”.

Чего больше в этих жестких портретных деталях у Г.Владимова? Неприязни? Душевного нерасположения к герою?

Солженицын по-другому увидел его. Портрет Жукова нарисован с несомненной авторской симпатией. Мы не найдем в рассказе каких-либо подробностей, снижающих образ. Даже ставшие привычными детали в портрете маршала (например, крупные черты его лица) обозначены иначе, чем у Владимова: “И стоустая шла, катилась о нем слава: ну, крут! железная воля! один подбородок чего стоит, челюсть! и голос металлический. А иначе - разве поведешь такую махину?” Легкая усмешка смягчает интонацию сведенной к одному абзацу характеристики исторического лица.

Отношение Солженицына к Жукову - живое, страстное. Вот, например, размышление писателя о том, почему Сталин долго не присуждал Жукову маршальского звания: в маршалах продолжали пребывать провалившие все операции на фронте Ворошилов, “два Семена - Тимошенко и беспросветный Буденный”. А “Жукову не дал маршала ни за спасение Ленинграда, ни за спасение Москвы, ни за Сталинградскую победу. А в чем тогда смысл звания, если Жуков ворочал делами выше всех маршалов? Только после снятия ленинградской блокады - вдруг дал. Даже не только что обидно, а - почему не давал? чтобы больше тянулся? боялся ошибиться: возвысить прежде времени, а потом не скачаешь с рук? Напрасно. Не знал Верховный бесхитростную солдатскую душу своего Жукова”.

Переживая за своего героя, автор напишет не только эти проникновенные слова. Он по-своему скажет о вкладе Жукова в Победу, найдет такие образы, которые передадут и стремительность меняющихся на фронте событий, и то нечеловеческое напряжение, в котором находился маршал всю войну. Его сравнения, метафоры поразят своей неожиданностью: Жуков был “пожарной, успешной командой, которую Верховный и дергал и посылал внезапно”; “... а все-таки главным щитом или тараном, или болванкой - на всякий опаснейший участок всегда с размаху кидали Жукова”; “...тут же швырнул начальника Генштаба - в Киев, спасать там”; “Был выдернут снова к Сталину, теперь для спасения Москвы”; “И тут же - послал спасать отрезанный Ленинград”; а потом “удалась великая Сталинградская победа”.

Писатель разнообразит авторский комментарий, соединяя в себе аналитика и психолога. Поэтому не остается неизменной и стилистика рассказа. Есть в нем страницы, которые прочитываются на одном дыхании. Они исполнены высокого пафоса, одухотворены мыслью о поразительном расцвете таланта Жукова-Полководца. Показывая маршала в его звездные часы, Солженицын напишет о “красоте замысла” Сталинградской битвы, сравнит его с “орлиным полетом”. План

Курской битвы - "еще одно такое же по красоте, силе и разгромному успеху стратегическое творение, как и Сталинград". Жуков "стал *стратегом*, он стал - другой Жуков, каким себя до сих пор не знал. Он приобрел уверенность высоко-го полета и обзора... Теперь он уже и придумать не мог бы себе преграды, которую нельзя одолеть".

На высокой патетической ноте закончит Солженицын рассказ о военной поре героя: маршал Жуков на белом коне принимает Парад Победы.

А потом - "крутое падение" - словно вышибли из седла: "Славы - как не бывало. Власти - как не бывало. И отброшен - в бездействие, в мучительное бездействие, при все сохранных силах, уме, таланте, накопленных стратегических знаниях".

"Однако, вот, написать своей рукой в воспоминаниях, что за свои мировые победы четырежды Герой Советского Союза - единственный такой в стране! - был сброшен... перо не берет, перед историей стыдно, об этом надо как-то промолчать". От этого признания Г.К.Жукова защемило сердце. Александр Исаевич Солженицын не мог промолчать. Чувство стыда перед историей, чувство вины перед "достойным сыном Отечества" побудило его сказать всю правду, восстановить истину.

Рядом с рассказом Александра Солженицына может быть поставлено стихотворение Иосифа Бродского "На смерть Жукова" (1974 г.). Их можно сближать по многим мотивам. Прозаику и поэту виден масштаб личности героя: "достойный сын Отечества" - "Воин", "родину спасший", сражавшийся "за правое дело". Полководец, "стратег" - "пламенный Жуков", поразивший "блеском маневра среди волжских степей". Авторы чувствуют трагичность судьбы Жукова, кончившего дни свои "глухо, в опале". Это герой войны, шагнувший в бессмертие, заслуживший свой памятник.

Рассказ Солженицына и стихотворение Бродского - литературный венок к подножию этого памятника. Это "голос памяти правдивой".